

Такой она была на протяжении всей жизни. И недаром, обращаясь к читателям своих стихов, изданных в 1961 году, она писала:

«Читатель этой книги увидит, что я не переставала писать стихи. Для меня в них — связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных».

Истинные поэты не умирают в тот миг, когда перестает биться их сердце, когда останавливается пульс.

Это больше, чем ко многим другим, относится к Анне Андреевне Ахматовой.

В. ВЕЙДЛЕ

Умерла Ахматова

Помню ее над гробом Блока, при последнем прощании, в церкви Смоленского кладбища —

Принесли мы Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном...

Прошло много лет. Теперь похоронили и ее. «Никого больше не осталось». Это мы говорим: современники, почти сверстники ее. Знаем, конечно, что требует это оговорок, но пусть другие делают их за нас. Достаточно правды в этих словах, чтобы нам их простили даже те, кто еще не родились. Они поймут: каждый раз вкушали смерти и мы, когда умирали наши поэты; и когда нас не будет, все будет так, как если бы мы умерли с ними заодно.

Не скоро наступит для русской поэзии время, сравнимое с тем, концом которого можно считать похороны Блока, а вторым, самым уж окончательным концом погребение Ахматовой. Она ведь была не на сорок пять, а лишь на девять лет моложе его. Поэзия ее с полной ясностью определилась рано, хотя это вовсе не значит, что не раскрылось в поэзии этой, за последние десятилетия, много нового и значительного, чего прежде предвидеть было нельзя. Однако голос ее все-таки навсегда остался тем же, который зазвучал в первой книге ее стихов, вышедшей в 1912 году. Многие услышали его тогда же, распознали его единственность; трудно было ошибиться: такого тембра, таких

интонаций, как раз тем и волнующих, что совсем «комнатных», разговорных, в русской поэзии еще не слышалось. Голос был женский, темы точно так же сплошь были женские или девичьи, и лиризм их был такой непосредственный, личный, что стихи эти почти могли показаться выдержками из писем или дневников. Но этим оценившие их должным образом не обманулись: удивил и восхитил их именно контраст между этой интимностью и строгой выверенностью его, не допускающей никакого «избытка чувств» и никакого многословия. Очень опрометчиво сравнивал впоследствии Андрей Левинсон (для французов, правда, но зачем же было их обманывать?) Анну Ахматову с Марселиной Деборд-Вальмор, поэтессой, поэзии не чуждой, но которая вечно, с распущенными волосами, перед зеркалом и при свечах, писала письма, длинные письма оперным, очень оперным Онегиным. У Ахматовой, с первых ее шагов, никаких нет признаний, заклинаний, душеизлияний. Ее лирика драматична, но как раз потому, что обходится без «экспозиций»: одни пятые акты, и отнюдь не мелодрам.

Скорей уж Христину Россетти, но и то лишь издали, она напоминает, а наши две раньше прославившиеся поэтессы вовсе не похожи на нее. Стихи Каролины Павловой — мужские, да и всего чаще очень книжные. Зинаида Гиппиус неизменно, слагая стихи, именovala себя в мужеском роде; чтобы стать поэтом, ей пришлось поэтессу в себе зачеркнуть. Ахматова стала одним из драгоценнейших наших поэтов, оставаясь поэтессой, женщиной. «Стала» тут и не совсем даже уместно: голос был у нее на редкость свой, своеобразия завоевывать ей почти не приходилось: оно было ей подарено. Есть в первой книге стихотворение («Вечерняя комната»), где хризантемы и георгины Анненского сочетаются с клавесинами, саше и севрскими статуэтками Кузмина (написавшего предисловие к этой первой книге), но ученичества в ней мало, даже хризантемы и саше переложены на ахматовский голос; а вскоре будут написаны и в ту же книгу войдут такие стихотворения, как «Сероглазый король», романтическая и (может быть) скандинавская баллада, строк на двести-триста по скромному расчету, вправленная, однако, с поразительным мастерством в семь двестишестидесяти, или «Рыбак», стихотворение такой четкости рисунка и такой меткости прицела в каждом своем слове, что Гумилев мог бы его напечатать в качестве манифеста той поэтики, которая точнее, чем его дарованию, отвечала дарованию Ахматовой, но которой не Ахматова дала нелепое имя акмеизма.

Одно из самых ранних стихотворений (1909 года) начинается стихами, поражающими своей неукрашенностью, «прозаичностью» (конечно мнимой):

Подушка уже горяча
С обеих сторон.

В 1911 году написаны знаменитые строчки:

Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Это свидетельства драматичности ахматовской лирики: выразительны не сами слова, но изображенное ими; требуется от них только, чтобы они предметное значение свое высказали с предельной сжатостью и точностью. Но и сосредоточеннейший лиризм этой лирики достигается словами, почти столь же общими, однако смысл которых уже нельзя оторвать от их звука и от интонации фразы (в данном случае вопросительной):

Я места ищу для могилы.
Не знаешь ли, где светлей?

или — как в последней строчке того же стихотворения («Похороны»),

И у ног голубой прибой —

от повторения звуков, ради которого слова (пусть бессознательно) и отобраны, при полной сохранности, однако, их первичного, естественного смысла.

В первой же книге, таким образом, отчетливо проявились те два устремления поэтической мысли, из сочетания и взаимодействия которых выросла постепенно вся поэзия Ахматовой. Очень наглядно ложатся они одно рядом с другим (сперва второе, затем первое) в четверостишии, которым начинается одно из немедленно прославившихся стихотворений второго сборника (1913):

Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

Третья и четвертая строчки хоть и не столь драматичны, но столь же «сценичны», как приведенные выше о подушке и перчатках, тогда как две первые живут «музыкой» и «невыразимым», а поэтому и почти той же, а не другую жизнью живут с

тех пор, как «невыразимым» заменило первоначальное «невыносимым». Устремление, столь ярко сказавшееся в последних двух стихах, больше обратило на себя внимание и сильнее, чем другое, определило поэтику, которой покровительствовал, не всегда ей следуя, Гумилев; но для самой Ахматовой характерны оба, в нераздельности их, да и вообще слишком подлинным была она поэтом, или слишком исключительно поэтом, чтобы свои приемы ощущать приемами, и тем более чтобы учитывать усвоение их другими. Ей подражали, но ее это не интересовало. Ее примеру, кроме того, следовали более одаренные люди и более плодотворно, чем примеру Гумилева. Для историков литературы это важно, ей же вряд ли казалось это существенным: совсем не была она литератором и больше всего ценила поэтов, всего меньше похожих на нее.

Поэтом она была, с детства и до конца дней, жизненно, всею жизнью, и в жизни, а не над нею; то есть, конечно, и «над», но не отрываясь от нее. Так — всех настойчивей в России — жил Блок, но отнюдь не все поэты, даже очень значительные, так живут; и уж вовсе нельзя отсюда заключать, что «средством» она «все в жизни» считала «для ярко-певучих стихов», как это пошловато сказано у Брюсова. Такое понимание и жизни, и поэзии может удовлетворить лишь очень незначительного поэта. Ахматова не покупала у жизни стихо-возбудительных средств, но жизнь свою осмысляла поэзией и, живя, осмысления этого не забывала. Да и не одной своей жизнью она жила. «Вечер» и «Четки» еще позволяли, быть может, этого не замечать, но не то, что последовало за ними. Драматически заостренный лиризм ее дарования не только допускал выход за пределы «своего», но и требовал такого выхода, требовал стихов не от своего лишь имени, требовал жизни в других и за других.

Мы на сто лет состарились, и это
Тогда случилось в год один —

не она воспела войну (или пошла на войну), но в «Белой стае» мы прочли не какие-нибудь, а вот эти стихи (1916 года) о ее начале, как и два столь же достойные темы стихотворения, написанные на другой день после того начала и впервые опубликованные в том же еще 14-м году. Не о ее другие стихи:

Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать,
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.

Горькую обновушку
 Другу шила я.
 Любит, любит кровушку
 Русская земля.

И эти не о ее сыне:

Для того ль тебя носила
 Я когда-то на руках,
 Для того ль сияла сила
 В голубых твоих глазах!
 Вырос стройный и высокий,
 Песни пел, мадеру пил,
 К Анатолии далекой
 Миноносец свой водил.
 На Малаховом кургане
 Офицера расстреляли.
 Без недели двадцать лет
 Он глядел на Божий свет.

Совершеннейшее стихотворение; да и первое тоже*. Распространяться о совершенстве его совестно, из-за темы и соответствия теме, в котором совершенство и состоит; а все-таки, как мелодично и воздушно «Анатолии далекой», после чего неверная рифма, чуть дальше, ранит, в сердце бьет еще верней; и как точно: «мадеру», как еще больней для тех, кто помнит, что моряки у нас именно мадеру пили всего охотней. Так что есть тут и «звенела музыка», и устрицы или перчатка не на ту руку, но в другом объеме, в широком, которая личной, «своей» жизни не исключает, но которую Ахматова, 20 июля 1914 года, раз навсегда, включила в личную свою жизнь.

* * *

Еще на западе земное солнце светит,
 И кровли городов в его лучах блестят,
 А здесь уж белая дома крестами метит
 И кличет воронов, и вороны летят.

* О нем скажу, что помечено оно «1914», но до «Анно Домини» как будто в печати не появлялось; не исключена возможность, что помечено оно неправильно. Слова о том, что «любит кровушку» русская земля, подходили бы скорей к дате более поздней. После того как статья эта была напечатана, Г. П. Струве подтвердил в письме ко мне (9 марта 1967) мое предположение, сославшись на «Бег времени» (1965), где стихи эти датированы 1921-м годом. Второе стихотворение датировано 1918-м годом.

Я познакомился с ней лишь через два года после того, как были написаны эти стихи, и бывал у нее довольно часто в 23-м и в первой половине следующего года. Она все приняла, и кресты эти, и воронов, голод, маузеры и наганы, серость новых хозяев, участь Блока, участь Гумилева, осквернение святынь, повсюду разлитую ложь. Она все приняла, как принимают беду и муку, но не склонилась ни перед чем. Оценка происшедшего и происходившего подразумевалась; не было надобности об этом и упоминать. Перед моим отъездом Анна Андреевна просила меня навести в парижской русской гимназии справки насчет условий, на которых приняли бы туда ее сына, если бы она решилась отправить его в Париж. Я справок не наводил, не очень в это предприятие верил, да и писать ей боялся, чтобы ей не повредить. Сама она никуда уезжать не собиралась. Ее решение было непреложно; никто его поколебать не мог. Попытались многие, друзья ее один за другим уезжали или готовились уехать. Часть их переходила границу тайно; они предлагали перевести и ее. Такого же рода предложения получала она и от уехавших. С улыбкой рассказывала мне об этом. Я ее уезжать не уговаривал, и не только из робости; не стал бы уговаривать, даже если был бы старше ее и связан с ней давнею большою дружбой. Я чувствовал и что она останется, и что ей нужно остаться. Почему «нужно», я, быть может, тогда и не сумел бы сказать, но смутно знал: ее поэзия этого хотела, ее нерожденные еще стихи могли родиться только из жизни, сплетенной с другими, со всеми жизнями в стране, которая, для нее, продолжала зваться Россией.

Приближалась она тогда к тридцати пяти годам. Часто хворала, была очень худа, цвет лица у нее был немножко землистый, руки тощие, сухие, с длинными, слегка загнутыми внутрь пальцами, напоминавшими порой когти большой птицы. Жила в скудости, одевалась более чем скромно. Показала мне раз монетку, хранимую ею: старушка ей подала на улице, приняв за нищенку. Но старушка все-таки была, нужно думать, подслеповата. Стать и поступь этой нищенки были царственны. Не только лицом — прекрасным и особенным скорее, чем красивым, — но и всем своим обликом была она незабываемо необычайна. Знала это, разумеется, очень хорошо (было кому и научить, если бы сама не догадалась). Иногда поэтому, в обществе людей не близко ей знакомых, проявлялась у нее некоторая манерность. Зато как бесконечно была она проста, мила, умна, когда угощала меня — поклонника, но не претендента — самодельным печеньем с чашкой кофе, и никого не было при этом или

была одна, нежно любимая ею «Олечка» (Глебова-Судейкина). Читала, если попросить, стихи; прочла однажды, по моей особой просьбе, «У самого моря» (там, всегда мне казалось, в движении, в пении стиха есть что-то, из чего родилось все самое ахматовское в Ахматовой). О себе она не говорила, болезненно-близких имен (Гумилева, например) никогда не произносила; но об одном — радуюсь — я от нее узнал, не житейском, но касающемся писания стихов, а значит, жизненном, и для нее, жизнью поэта живущей, существенном. Она мне сказала, что, слагая стихи, она никогда в руки не берет пера и бумаги. Работает долго над каждым стихотворением, но записывает его лишь в полностью отделанном виде, после того как прочла друзьям, порой через неделю или две после эстрадного его чтения. Она и вообще писать, писем хотя бы, по ее словам, терпеть не могла, пера в руке держать не любила. Да и сочинять какие-нибудь нестихотворные тексты было ей тягостно. Когда читовали Сологуба, она меня попросила составить краткое приветствие, которое прочла на сцене Александринского театра, в полном великолепии на этот раз, в белом шелковом платье, чуть ли не со шлейфом, — а если не было шлейфа, было легко, на нее глядя, шлейф вообразить. Но вообразить ее нанизывающей безличные фразы такого (от Союза писателей) приветствия было нелегко. У нее и почерк был старательный и негибкий, как у тех, кто не привык писать. Умиляюсь надписям на двух сборниках, одновременно мне подаренных, вспоминаю, как она их тщательно выводила; коротенькие, а на второй устала, подписалась одной фамилией. Но как показательно, как ей к лицу это вынашивание стихов в себе, долгое, без записи, это пребывание в ней слова среди забот, утех, скорбей. С каким вниманием слушала она музыку его, как бережно его несла... И вот, сквозь долгую жизнь, нетленно донесла до гроба.

Сорок два года еще жила там, где нас нет. Как их прожила, этого мы в подробностях не знаем. Читали (трудно в этом сомневаться) лишь часть написанного ею за эти годы. Но этого достаточно. Предполагаем, что думала о нас, здешних, ставила себя на наше место (например, когда писала стихотворение свое — одно из лучших ею написанных — о Лотовой жене). Знаем, что не осудила. Знаем еще тверже: и нам благодарить ее надо за то, что она осталась там.

Даже и почерк стал как будто побойчее. Литератором пришлось сделаться; не банально, положим, а достойно (писала о Пушкине, да и так, что дай Бог всякому «пушкинисту»). Переводами пришлось заняться, не всегда по своему выбору, не все-

гда с языков, ей известных. Пришлось выслушивать окрики невежд, и хуже, чем невежд (свирипейшего из них, Жданова, помянули казенной хвалой за несколько дней до ее смерти). Пришлось молчать, — и вообще молчать, и молчать, когда замучен был Мандельштам, когда повесилась Цветаева. Пришлось, пытаясь спасти сына, не молчать — в стихах, в стихах... Многое пришлось. Но если бы не осталась, кто бы тогда написал:

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

Кто бы написал «А вы, мои друзья последнего призыва...» или «Постучи кулачком — я открою...» или вообще встретил «Ветер Войны» — еще раз — как поэта не как столькие другие, все именуемые этим именем? Кто бы «Реквием» прорыдал, свою жизнь, свою муку ни от чьей жизни, столь же мучимой, не отделяя? «В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях». Это и дает ей право сказать, что тогда и все эти годы она была «там, где мой народ, к несчастью, был». Поэтому уже и поставлен ей памятник всеми нами, теми, кто, потеряв Россию, людьми остались, в России или не в России; поставлен не где-нибудь,

А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громычание черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слезы струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

Не повидал я Анну Андреевну перед ее кончиной. Приезжала в Париж, но меня в те дни тут не было. Очень об этом жалею и даже этого стыжусь. Немножко вроде как того стыжусь, что два месяца, в Петербурге, лежал у меня на столе ее альбом, куда вписывали ей стихи, скромный, небольшой, в темном кожаном переплете, какие бывали не у поэтов, а у барышень; два месяца лежал, и не решился я ничего туда вписать; так ей и вернул.

Вижу ее теперь, то в чем-то сереньком, тощенькую, ту, которой милостыню подала старушка; то высокую, в белом, при

свете люстр, сверканье хрусталей. И когда в белом, словно венчик чудится мне над ней. Не венчальный, не царский... Верно, из лавров сплетенный? Нет, — прозрачней, светлее: едва ли не мученический венец.

Н. СТРУВЕ

На смерть Ахматовой

Что? Что? Уже?.. Не может быть! — Конечно!
И святочного неба бирюза,
И все кругом блаженно и безгрешно...

А. Ахматова. Трилистник Московский.
1961—1963

Каким было небо в Москве, когда Ахматова «навсегда покинула город», мы не знаем, но бирюзовым и запоздало святочным было оно у нас в Париже, когда разлеталась промелькнувшая накануне в вечерней газете весть о *ее смерти*. «Что? Что? Уже? Не может быть! — Конечно!» — повторял себе всякий, кто сколько-нибудь следил за литературной жизнью последних лет, но особенно тот, кому в Лондоне или в Париже всего несколько месяцев назад выпала нечаянная радость видеть, слышать Ахматову.

Смерть Ахматовой... Нужны не косноязычные слова, а державинский стих, чтобы передать трагическое величие этого события. Не только умолк «неповторимый голос», до последних дней вносивший в мир, вопреки «обреченному телу», тайную силу гармонии, с ним завершила свой круг и вся неповторимая русская культура, просуществовав от первых песен Пушкина до последних песен Ахматовой ровно полтора года лет. Конечно, были предтечи, будут и эпигоны, но такой, какой она была, цельной, великой в своей человечности, русской культуре уже не бывать.

Поэтическое возрождение Серебряного века имело разные источники (Соловьев, Тютчев, французская поэзия), но точка его завершения была одна: Пушкин. К Пушкину под конец потянулись далекие от него символисты, с Пушкина начали акмеисты, но ближе всех к Пушкину подошла Ахматова. Пушкин и Ахматова — первое и последнее кольцо замкнувшейся золотой цепи русской поэтической речи.

От Пушкина у Ахматовой высшее чувство меры, целомудрие слова, сжатость выражения. И — обостренная совесть. От До-